

Инна Лесовая

СЕМА РАБИНЗОН И ЕГО КРАСАВИЦЫ

Бывает такое иногда: посмотришь на чье-то лицо – и видишь, как Господь трудился над ним, как любовно выверял каждую черточку, каждый объем и поворот формы. И видно еще, что задумано это лицо в веселый день, когда все получается, когда блистательные находки так и теснят одна другую, и слишком их много, и нет времени довести каждую до совершенства – да и не видишь как-то смысла в нем, в совершенстве. Любой творец пережил это хоть однажды и знает, что нет на свете ничего лучше. В один из таких дней были созданы помидоры, перец и баклажаны. Попугаи. Из цветов – георгины. Из людей – красивые непутевые семейства, вроде семейства Рабинзонов.

Надо же было создать столько красоты – и впихнуть все это на улицу Коминтерна, в тесную коммуналку – как куст темно-красных георгинов в глиняный горшок! Да еще с какими-то Тарсисами, сотворенными в один день с настурциями и морковкой. С Котовскими, сляпанными кое-как вперемежку с хреном и садовыми цветами неживого серо-лилового цвета, с гнильцой в запахе – будто они начали портиться еще до того, как расцвели. Да... Не лучше ли было перележать пасмурный день на диване, чем вымучивать из себя такие цветы? Или близнецов Котовских, унылых, узколицых. И, разумеется, с комплексами. Еще бы – при таком соседстве... Рабинзоны! Сочные стебли, крепкие мощные листья! А головки! Яркие, лохматые! В центре – роскошная, самая большая, рядом – другая, преданно повернутая к ней лицом, а ниже – три распускающихся один за другим бутона. Глаз не оторвать!

Они вечно торчали у окна, как на сцене. Окно было огромное, многостворчатое, будто специально для Рабинзонов выстроенное полукругом. Оно венчало темную нишу подъезда, забранную ажурными старинными воротами. С двух сторон ворот торчали гранитные надолбы, которые в послевоенные годы каждому напоминали культы ампутированных ног. На правой обычно сидел с сигаркой дворник, на левой – однорукий Коган. К трехсотлетию воссоединения Украины с Россией рядом с надолбами выбили по квадрату асфальта и посадили мускатный виноград. Он быстро разросся и образовал над окном Рабинзонов арку. Очень красиво! Ну разве не стоило бы перенести все это в театр, на сцену? Подобрать подходящую пьесу... Или сочинить. Но только не о Рабинзонах. Ну, хотя бы потому, что ни в одном театре не найдется столько красавиц сразу. К тому же главное тут – в сочетании этих лиц – чем-то похожих и при этом удивительно разных. Да и не бывает в театре женщин с таким сложением...

Тут даже не скажешь, что они были плохо сложены: это дело вкуса. Но в театр не берут ни с таким маленьким ростом, ни с таким большим бюстом. И эти массивные праздничные плечи! Казалось, что красавицы только что вдохнули радостно – и вдох этот все длится и длится... Есть куда... А крошечные ступни литых тяжелых ножек вальяжно и решительно несут всю эту круто завернутую постройку, увенчанную дивным лицом, щедро подставляющим себя под восхищенные взгляды. Ради Бога, смотрите, раз вам приятно, тем более, что нам это не составляет никакого труда...

Впрочем, так смотрела самая красивая, Марксэна, в обиходе – Мара. Мать семейства. Каждая из дочерей прибавляла к этому выражению свой особый нюанс. По правде говоря – лишней. Вот как раз на этот нюанс они и были хуже матери. Ну и,

конечно, глаза. Этих огромных пепельно-голубых непрозрачных глаз, сияющих, как драгоценные камни, никто не унаследовал. Только Катя, младшая дочь Рабинзонов, уродилась голубоглазой, но то были глаза бабки, старой Рабинзонши, Семиной матери – кстати, тоже очень красивой старухи, но как бы не из того спектакля. В окружении семейства сына она выглядела так же странно, как выглядела бы на сцене, где идет "Тартюф", актриса в костюме Электры... Может, она и сама чувствовала это: как только Сема женился, старуха перебралась к больной сестре и жила своей отдельной жизнью, хотя к сыну заходила почти каждый день. Все видели, как она поднимается по лестнице с тяжело нагруженной сумкой и очень скоро возвращается – уже с пустой. Иногда она ненадолго останавливалась с кем-нибудь из "старых", довоенных соседей. Разговоры были самые отвлеченные. На невестку она не жаловалась, хотя именно этого от нее и ждали: сколько сил приложила Берта Давидовна для того, чтобы сын стал врачом, а он взял да и бросил институт. На предпоследнем курсе! Устроился фельдшером на какой-то медицинской развозке, стал мотаться по селам...

Эта незавидная работа позволяла Семе вполне прилично содержать семью. Он привозил дешевые продукты, иногда – дефицитные товары: в захолустных сельмагах они, никому не нужные, пылились на полках.

Синий фургончик с красными крестами на лбу и дверцах подкатывал к дому, резко тормозил, из него опрометью выбрасывался Сема в белом халате, надетом поверх майки, с каким-нибудь ящиком, или мешком, или парой плохо ощипанных кур. Взбегал через три ступеньки по лестнице и тут же – назад, едва успевая кивнуть старухам, стоящим у парадного на вечном посту. "Все в дом, все в дом!" – кивали ему вслед старухи, и никак нельзя было понять, восхищаются они Семиной проницательностью или, наоборот, порицают его, будто он притащил домой тех самых кур, что были предназначены им, старухам. И еще говорили: "Какой красавец!" И тоже с некоторым осуждением, будто и красоту свою, и молодость, и нарядный загар Сема перехватил у них, у старух, из-под носа. "Уже на что я старая, а как посмотрю на него, так аж тьохнет! аж тьохнет! – говорила скрюченная Рябчучка. – И не пьет..."

Несмотря на такую высокую оценку Семиных достоинств старухи были уверены, что жена ему изменяет. Не то что они понимали некоторое несоответствие стати... Им, наоборот, казались очень привлекательными девичьи губки Семы, пухлые румяные щеки и – особенно! – густые, чуть не в сантиметр длиной черные ресницы. Их жаркая тень почти скрывала белки, и огромные глаза казались целиком черно-сливового цвета. Он был невысокий, но ладный и крепкий, как футбольный мяч. Белый халат шел ему необыкновенно! И эти тугие черные завитки в белом угольнике воротника... "Так и тьохнет..."

И все же... Его находили похожим на артиста, на грузина. На итальянца! Но не на начальника. А Мара – эта походка, этот невнимательный лучистый взгляд, эта тайна в вечной улыбке длинных неразмыкающихся губ! Этот носик – возможно, мелковатый для ее крупного лица, с точеными ноздрями, чуть напряженными, как бы вдыхающими упоительный аромат... Вот именно! Мара будто вечно плыла в облаке тончайшего аромата. Такая женщина могла претендовать по меньшей мере на директора большого завода. Или крупного партийного деятеля. Или на какого-нибудь дельца – не замухрышку из тех, что ходят двадцать лет в брюках с бахромой и заплатками и вдруг, к неописуемому удивлению соседей, получают расстрел, а на такого, что, никого не боясь, разъезжает на "Победе", строит дачу с кожаными диванами и музейными

сервизами, вешает бриллиантовые люстры на уши жене, а в крайнем случае стреляется из именованного пистолетика...

Да. Что говорить: Сема был не такой. Ну, купил по дешевке курицу, приволок мешок картошки. И ради этого отбивать себе печень на раскученных дорогах? Совать щепки с ватой в глотки пациентам, которые давятся и кашляют тебе прямо в лицо... Подумаешь – наодалживал у всего двора, купил супруге красные босоножки на высоченных каблуках... А она в них казалась выше Семы чуть не на голову. И шел он за ней по улице, как преданный старательный заместитель идет за женой начальника.

Впрочем, кто бы ни шел за Марой, выглядело это так, что хотелось произнести вслух: "и сопровождающие ее лица". Мару гордо вели, несли, как букет. Муж. Две младшие сестренки, очень похожие на нее – и при этом некрасивые. Потом дочери, потом их мужья и дети, потом... А Мара все не менялась, даже наоборот – хорошела и молодела с годами. Послевоенная мода всех несколько старила, особенно женщин в теле. Но затем пошли цельнокроенные платьица, плащики с закатанными по локоть рукавами, перламутровая розовая помада вместо прежней ядовито-малиновой и густовишневой, тушь для ресниц. Марины глаза и без подводки были прекрасны, а с изящно обрисованными контурами они просто ослепляли. К тому же Мара перестала завивать свои медно-русые волосы и начала красить их в темно-каштановый цвет, что делало ее еще ярче и скрадывало морщинки или другие мелкие недостатки кожи, если таковые были. А может, их и не было. Может, и в самом деле беременность фантастическим образом обновляла ее организм. Во дворе говорили, что Мара чуть ли не постоянно ходит беременная и уже только на крайнем сроке делает аборт. Что ей, якобы, это все запросто: никакой тошноты, никаких отеков. И сама операция для нее абсолютно безболезненна.

Трудно сказать, откуда шла такая информация: Мара ни с кем во дворе не дружила. Даже здоровалась едва-едва. Проплывала от остановки троллейбуса к парадному (кстати, с такими же авоськами, с такими же растопыренными сумками, как и все прочие женщины во дворе). Старухи отчужденно расступались перед ней, пропуская к двери, и снова смыкали свои ряды, полупоглядывали ей вслед с тайным намеком, поджимали губы, пока она чиркала подошвами по гранитным ступенькам – величественно, как бы любуясь своей усталостью. Потом соседи видели со двора, как она часами хлопочет на кухне: ее столик находился у самого окна. В движениях Мары не наблюдалось особого вдохновения, но и раздражения тоже не было. В остальное время ее можно было увидеть с улицы, в полукруглом окне над подъездом, который с некоторых пор стал как бы продолжением их жилья, открытым миру: там за ажурными воротами испуганно тарасился из темноты подарок безногого отца Мары – инвалидный жучок-"Запорожец". Довольно часто среди недели возле "Запорожца" хлопотал Сема, заглядывал под брюхо машины или в ее разинутую пасть с гиппократовой заботой. Тогда уже на левой надолбе сидела бабка "Ну-ну-ну", у которой после инсульта стянуло в локте руку, так что она непрерывно тряслась и грозила вытянутым кверху пальцем. Бабка была живая и активная, тяготилась своим бездельем и нашла новое призвание в том, что охраняла Семину машину. "Если кто подойдет, я буду вам в окно кричать, – обещала она Семе. – Я такой крик подниму! Пусть только попробуют!" И хотя никто не пробовал, Сема был ей очень благодарен. Иногда заносил какие-нибудь продукты, но она не это ценила. Для нее важнее было просто побеседовать. Она даже нарочно придумывала каких-то мальчишек, которые

"лезли", какого-то типа, который "все время крутился". "Снова приходил! – пугала она Сему. – Но я ему..." – И грозила пальцем.

Как-то она решила заодно взять на себя заботу о Семиной чести: доложила о том, что во дворе говорят, будто Мара ему изменяет. На что Сема, несколько не смутившись, ответил: "В хорошем деле хорошо иметь и половину". Был ли он философом – или просто хотел таким оригинальным образом оградить себя от сплетен – неизвестно. От сплетен он действительно оградил себя навсегда, но репутацию жены погубил: его афоризм восприняли как циничное признание.

А ведь кроме этого признания ничего компрометирующего за Марой не числилось. Ночевала дома, выходила на работу с мужем под руку, возвращалась вовремя, готовила, стирала, или просто торчала в окне со своими сонными сестрами, потом с дочками, под патефонное скольжение бесполого тенора или истеричного сопрано. Завидев медицинский фургончик мужа, несколько оживлялась и исчезала из окна. А музыка не прекращалась. Музыка у Рабинзонов звучала допоздна, особенно по субботам, и если кто желал – мог перейти через дорогу и со ступенек хлебного магазина увидеть танцующих. По воскресеньям было тихо: Сема с Марой спали допоздна, а потом наряжались и отправлялись куда-то в гости. Обычно – большой компанией, с родственниками, с друзьями. Собирались у подъезда Рабинзонов, в тени раскидистой старой липы. Стоило посмотреть на эту яркую компанию с Марой в центре: как они трогались с места, шли наискось через улицу к трамваю...

Короче, изменять Маре было просто так некогда. К этому и вела преданная Семе бабка "Ну-ну-ну". Собиралась похвастать, что смотрит за Марой не хуже, чем за инвалидным "Запорожцем". А он возьми да и брякни такое! "В хорошем деле..." и так далее. Конечно же, двор с удовольствием подхватил его слова. Даром что Мара, даже находясь на работе, пребывала у всех на виду.

Она сидела на центральной площади города в стеклянном рундучке с полукруглой вывеской "Театр оперетты" и маленькой табличкой "Билетная касса". Сияла, как драгоценность в стеклянном ларчике. Конечно, возле ее рундучка с момента открытия ходили роями кавказские мужчины, тоскующие от бесперспективного желаяния, как зрители у витрины алмазного фонда. Она была приветлива с ними и поддерживала разговор, но этого требовала работа. По правде говоря, в те годы Мара была главной притягательной силой театра, лучшей его рекламой. Казалось: ну, раз уж в билетной кассе вас встречает такая красота – то что же вас ждет на сцене... А на сцене ждала не первой молодости Бржезовская. Блондинка, правда, но с глазами, так грубо подрисованными, что они казались мертвыми и косыми. Да... Главной сценой театра был Марин рундучок, во всяком случае, для определенного круга зрителей. Случалось, что какой-нибудь джигит вез свои мандарины и гранаты в Киев главным образом для того, чтобы увидеть собственными глазами хваленую Мару. Не надо думать, что при этом она была завалена цитрусовыми, розами и духами. Кое-что перепадало, конечно, но – по мелочам: кавказская щедрость не всегда бескорыстна, а Мара не шла дальше приветливых разговоров и никак не откликалась на тоскливые намеки, щекочущие, впрочем, самолюбие. Такие разговоры – прекрасное тонизирующее средство. Возможно, они являлись одной из причин неувядающей Мариной молодости наряду с питательными масками и компрессами.

Ох уж эта Марина молодость! Именно она и вызывала наибольшее раздражение у женщин. Они считали, что Маре известны какие-то особые ухищрения, которые Мара тщательно от всех скрывает. Да знала бы Мара что-нибудь эдакое – она непременно

сделала бы хоть немного привлекательнее своих сестренок! Уж как она старалась! Яркие платица, игривые прически, кремы от веснушек и юношеских прыщей... Но личики у них оставались невозможно блеклые и унылые, и как-то хотелось, чтобы им поскорее исполнилось лет по сорок.

Надо сказать, что сестры Мары были для нее почти что дочерьми. Маре было четырнадцать лет, когда в эвакуации умерла ее мать и она осталась с двумя малышками на руках. Мара отказалась отдать их в детдом, устроилась перемотчицей на киностудии, и когда отец вернулся с войны, он застал детей неожиданно благополучными и ухоженными. Тем не менее он поспешил жениться, чтобы освободить старшую дочь от ее недетских обязанностей. С его вечно ломающимся протезом особенно выбирать не приходилось, и женщина, которую он привел в дом, оказалась не из тех, что могут заменить мать. Так что когда Мара вышла замуж, девочки, можно сказать, перебрались к Семе. Сема ничего не имел против. Пожалуй, был даже доволен. Он видел в них как бы часть Мары, а Мары чем больше – тем было для него лучше. К тому же то были непрехотливые времена; его двадцатитрехметровая комната считалась роскошным жильем. А соседи терпели непрописанных Мариных сестер, так как за каждым был свой грех.

Начать с того, что Котовские во время войны самовольно заняли комнату, в которой Семин отец принимал больных. К тому же с ними жил малоумный брат, в целом тихий, но способный все же на неожиданные поступки. Он был очень высокого роста, и пару раз его заставляли стоящим на цыпочках под светящимся оконцем ванной, где как раз в это время купалась Мара. Мара то ли не замечала его, то ли не видела смысла поднимать скандал... В любом случае Котовские были ей благодарны. Что же касается рыженьких Тарсисов, то они сами всех боялись и чувствовали себя виноватыми, так как Фрида Тарсис была преподавательницей музыки, и это не могло не мешать соседям. Совестьливая Фрида очень переживала и даже взялась бесплатно учить девочек музыке. Они были тихие, безобидные и до столбняка стеснительные. Проходили в комнату, запинаясь и подталкивая друг друга. Играли очень старательно, но мелодии невозможно было опознать. Трехлетний Веничка Тарсис от их музыки страшно зевал.

Двенадцать дня... сонный, пустой июльский город, пустая квартира и унылое беспорядочное брэнчание. Синий фургончик скатывается с горы по раскаленному булыжнику, тормозит под старой липой, и Сема, откинувшись назад, тащит к парадному ящик белой черешни со спутанными проволочками черенков. "Тень-тень-тень... бом-бом-бом..." – заполняет улицу безысходная скука детской пьески. Выпавшая ягодка катится вниз по улице Коминтерна, и уже с этой улицы, с этой нескладной музыки начинается для Семы родной дом.

– И почему мы такие бездарные? – как-то разоткровенничалась Мара с Фридой Тарсис. – Меня тоже пробовали учить музыке, и тоже ничего не получилось. Папа в молодости прекрасно пел, мама рисовала! А мы? Ну хоть бы какой-нибудь талант!

– При такой красоте какие еще вам таланты нужны? – горячо перебила ее Фрида. – Вот пройдет год-два, и девочки станут такие, как ты. А, может, даже лучше!

– Правда? – так и покраснелась от благодарности Мара. – Вот и я всем говорю! Когда они оформятся, они будут очень интересные!

– Конечно! Они ведь так на тебя похожи!

Разумеется, Фрида хотела доставить Маре удовольствие. Но нельзя сказать, что она говорила неискренне. Сестры действительно были очень похожи на Мару. И

действительно с годами похорошели. И все же... Стоило лишь взглянуть на лица девочек – и сразу становилось ясно, что это две неудачные попытки повторить Мару. Повторить Мару! Размножить нечто необъяснимо прекрасное, возникшее почти случайно, в результате мгновенного озарения... Видно, это не под силу даже Богу.

Так что со стороны сестер было наивным полагать, что им идут такие же платья, как Маре, тот же способ подводить глаза и выщипывать брови, ярко-каштановый цвет волос. Хотя не надо думать, что все это выглядело как-то смешно или глупо. Главное, они свели свои веснушки и избавились от рыжевато-мольего тона, который так уродовал их в детстве. И когда Семина компания собиралась у подъезда, они не портили общую красоту, а, напротив, даже вносили в нее свою лепту.

И все-таки – далеко им было до Мары! Некий Отари, пораженный ее красотой, с таким вдохновением рассказывал о ней, что друг его, Томази, не выдержал, сделал крюк по дороге в Москву, чтобы взглянуть на восхитительную кассиршу. В то время Мара как раз рожала Лианочку, а в кассе сидела младшая из ее сестер. Томази нашел женщину интересной, но восторги Отари – сильно преувеличенными. Удивленный Отари предположил, что в будке сидела не Мара, но описания Томази и Отари абсолютно совпадали. Невысокого роста, полненькая, с тонкой талией. Грудь вот такая примерно. Плечи большие. Прическа – высокая. Глаза голубые, подведенные до виска. Щеки – вот тут впалые, а вот тут круглые. Губы – такие... широкие... немножко вниз. "Чувственные!" – мечтательно уточнил Отари. "Скорее – недовольные" – возразил Томази. Так они и не поняли друг друга.

Недовольные... Да у Мары в жизни не бывало недовольства на лице. Оно постоянно выражало именно довольство и радостную благодарность. Так смотрят иногда глупцы. Иногда – святые. Мара не была глупа. Тем более ее нельзя назвать святой. Хотя, если призадуматься... При такой внешности, при таком страстном внимании мужчин ее образ жизни нельзя не признать добродетельным. Она, как все, спешила на работу, стояла в очередях за рыбой и гречкой, таскала тяжелые сумки, парилась на кухне, вынашивала и рожала детей, воспитывала их, как умела. И вдобавок умудрялась помогать отцу и сестрам. Разумеется, тут нет особого чуда: так жили все женщины вокруг Мары. Но у тех, в отличие от нее, не было выбора. И ядовитые их сплетни как раз о том и говорят, как бы они сами поступали на Марином месте.

Ну и Сема сдуру приложил руку. "В хорошем деле хорошо иметь и половину". Пошутит, называется! Не знал, что ли, с кем шутит...

Впрочем, и этого бы не хватило для того, чтобы создать представление о Рабинзонах, как о распутном семействе. Тут главную роль сыграла, конечно же, Флора, старшая дочь Мары, первенец.

Была у Мары одна особенность, также способствовавшая возникновению таинственных слухов: по ее виду никогда нельзя было догадаться, что она беременна. Вернее, так: она всегда выглядела беременной на четвертом-пятом месяце, но при этом ничего такого не происходило. А потом вдруг, будто с удачной покупкой, подъезжал к парадному Сема. С пышно упакованным младенцем на руках поднимался, сияя, по лестнице, а за ним – Мара, опять же как новенькая монетка. С букетом. В окружении сестер, свекрови, прочих родичей.

Дня два играл патефон. Потом младенец существовал незримо – правда, из полукруглого окна порой доносился его плач. Как только кончался декретный отпуск, Мара возвращалась в свою кассу, а с ребенком сидели то сестры Мары, то ее свекровь. Рабинзоны не гуляли с младенцами по улице – просто ставили коляску под открытым окном и таким образом обеспечивали их потребность в свежем воздухе. Со стороны же это выглядело так: вот зимой привезли ребенка из роддома, а летом он появился во дворе с красным ведерком и лопаточкой, которой тут же и без всякой причины ударил по лбу крупного пятилетнего мальчика. Речь, разумеется, идет о Флоре, старшей дочери Рабинзонов.

Надо сказать, с дочерьми Мары творец не повторил ту ошибку, какую допустил, создавая ее сестер. Дочери были похожи на Мару лишь общим рисунком фигуры, отдельными черточками и вдохновенным размахом исполнения. А уж в кого они пошли характером – в особенности Флора – и вовсе непонятно.

Для дворовых сплетников Флора оказалась единственным, но очень весомым доказательством того, что Рабинзоны – беспутное семейство. Разве мог в приличной семье появиться такой сатаненок? Молча подойти, ударить, с удовольствием, с азартом... Мать побитого мальчика поймала тогда Флору за руку и, не зная, что делать с этой маленькой паскудой, трясла ее и обещала: "Не своей смертью умрет! Вспомните мои слова, люди!"

Не надо осуждать эту женщину, доведенную до исступления младенцем. Все происходящее доставляло Флоре удовольствие. Плач, и кровь, и ругань взрослого человека радостно возбуждали ее, и было ясно, что, как только женщина выпустит ее ручку, она тут же ринется на следующую жертву, и чем ребенок старше – тем он будет беззащитнее перед ней.

От "Флорки" стали просто убегать. Она выросла, так ни разу и не поучаствовав в общих играх. А какие это были прекрасные, длинные игры! Какие "дочки-матери"! С посудой! С настоящей едой! Какие бывали спектакли с переодеваниями! Со шлейфами из тюля! Но стоило появиться Флоре – и все тут же шло прахом. Девочки бросались грудью на свои флакончики и чайнички, прижимали к себе кукол. Может, если бы не этот непереносимый переполох, Флора когда-нибудь и увлеклась бы общим действием. Бывало у нее иногда соответствующее лицо... Будто она вдруг забыла о том, что должна бить, царапать, пачкать, хрипло орать в две глотки и махать четырьмя руками. Тогда становилось видно, что она очень маленького росточку, забавная и ладненькая, что на ней славное платьице, что у нее прелестные черные кудряшки, маленькие красные, как у Семы, губы, высокие Марины скулы, чуть раскосые глаза, обведенные, будто углем, двумя полосками ресниц... Но оценить все это мог только взрослый. Потому что лицо Флоры было обсыпано веснушками – причем не какой-нибудь бледной пылью, покрывавшей носы и щеки юных теток Флоры, а темно-коричневыми точками, четкими и едкими, будто это проступал наружу дрянной ее характер. В те годы среди детей любые веснушки считались одним из самых страшных дефектов. Почти как косоглазие. И поэтому, когда во дворе решался важный вопрос – "кто из девочек первое место по красоте" – о Флоре даже не вспоминали.

Впрочем, и без веснушек было бы то же самое. Потому что стоило Флоре поймать на себе чей-то взгляд, как она тут же искривлялась в злобещем азарте. Быстрые черные глаза разбегались, как тараканы, выискивая точку применения Флориной скверной энергии, и если ничего лучшего не приходило в голову, Флорка загребала пальцами черную жижу из-под колонки и запускала куда попало. Причем это могло

оказаться и окно, и свежестыранная простыня, сохнувшая на веревке. Поймать ее было невозможно, и соседка кричала под окнами Семиной кухни: "Се-о-ома-а! Забери сейчас же своего выродка – а то я за себя не ручаюсь!" Сема высовывался из окна, оценивал ситуацию и принимался ругать Флору и звать ее домой. Домой она, разумеется, не шла, и ему приходилось спускаться и бегать за Флорой по двору. Он отлавливал ее с помощью взрослых мальчишек и тащил к дому, а она упиралась, царапала сандалетами землю, бросалась на пол, плевала в Сему, в мальчишек, которые злорадно сопровождали Флорку до парадного и помогали Семе пропихнуть ее в дверь.

Потом во дворе ждали, когда Флора начнет орать своим хриплым, будто прокуренным голосом: "Помогите! Убивают!" Длилось это удовольствие недолго. Минут через пять Флора появлялась в окне – заплаканная, но веселая. После таких случаев ее подолгу не выпускали из дому, но она продолжала вмешиваться в чужую жизнь. Казалось, что черная лохматая голова торчит из обоих окон сразу и из кухни обзывает "пидарастиком" стеснительного студента, квартиранта дворничихи, а из комнаты плюет на шляпы прохожих черносливами из компота. И откуда: из того самого полукруглого окна, в котором все привыкли видеть безмолвную Мару – в центральной створке, а в боковых – ее сестер, подпирающих кулачками свои приталенные щеки.

Но с другой стороны – как ни крути – Флора уродилась именно в этой семье, а не в какой-нибудь другой. И где, как не дома, могла она почерпнуть словечки типа "пидарастик" и "онанист"? Так она цепляла взрослых мальчишек, гуляющих во дворе. Значения этих слов никто не знал, но было понятно, что они матерные и очень обидные. Вдобавок в них звучало что-то научнообразное, что вызывало особо острое раздражение.

Так что не удивительно, что именно старшие дети возглавили заговор против пятилетней Флоры. К этому заговору был привлечен весь двор – и даже не вполне надежный Веничка Тарсис, который должен был подать из кухонного окна условный знак, когда услышит, что Флорка идет гулять. Веничка Флору не любил, даже боялся ее. Родители каждый день внушали ему, что он не должен с ней играть. И все-таки, согласившись помочь мальчишкам, он испытывал некоторые угрызения совести: как-никак она была его соседка по квартире. Однако знак он подал: неожиданно лихо свистнул – и все дети прижались спинами к стене черного хода. Флорка держалась настороженно: накануне она растоптала палисадник, который дети сами устроили в освобожденном от мусора углу двора. Но засады она не ждала, и Веничка увидел, как сомкнулся вокруг нее беспорядочный, свирепый круг. Веничка не знал, что с ней собираются сделать, но сжимался всем телом в нетерпеливом ожидании чего-то ужасного. Флорка бесстрашно бодалась, но выбиться из круга не смогла и в конце концов хрипло завопила: "Сема-а! Меня бьют!" Сема без особой торопливости прошаркал к окну и, нависая над Веничкой, лениво, хотя и довольно строго потребовал: "Ну-ка, бросьте ее сейчас же! Не связывайтесь!" И было видно, как он устал от этих вечных разборок.

Только не надо думать, что Флора так уж отравляла Семину жизнь. В целом у него все шло хорошо. Патефон, мешок яблок или картошки, купленный за копейки, Мара, грызущая кавказские орешки в своей хрустальной будочке, первое, второе и компот на обед... Не какие-нибудь ширпотребовские сардельки или разлезавшиеся пельмени! Нет! Ароматные борщи и прозрачные бульоны, голубцы по-еврейски и по-армянски!

По сравнению с Мариной стряпней ресторанные блюда казались лишенными сока и свежести. Тем не менее раз в месяц собирались, нарядные, под липой и торжественно шествовали в ресторан. А куда же еще было надеть туфли на шпильках и платье из китайского шелка? На весь квартал пахло "Серебристым ландышем" верного Отари, так что дети непрерывно чихали. Самого младшего всегда нес на руках Сема. Он любил носить детей, даже если в этом не было надобности, и в его руках они выглядели как-то особо уютно и надежно. Он вообще любил детей. Любил, когда их нарядно одевали. Красиво одетый ребенок был для Семы одним из важнейших элементов красивой жизни.

Во дворе многие были богаче Рабинзонов. Но именно от Рабинзонов впервые услышали слова "импортный", "чешское стекло", "французские духи". Рабинзоны первыми купили фен. Первыми взяли в рассрочку цветной телевизор. И вообще одними из первых поняли, какое это благо – рассрочка. Если на какие-нибудь туфли или польскую комбинацию еще можно одолжить деньги, то что делать, когда не хватает на пальто? А тут – никаких тебе унижений, только возьми на работе справочку. К тому же у Мары в самых разных магазинах были знакомые продавцы, которые придерживали для нее то какое-нибудь необыкновенное платье, то совершенно потрясающий костюм. От этих продавцов проку было куда больше, чем от пылких кавказцев, темным пряным роем круживших вокруг ее будки. Разумеется, если бы Мара была способна на что-то предосудительное, ей бы и сапоги перепали, и колечки с камешками. Кавказец щедро платит за любовь – но ведь то за любовь, а не за игривый разговор через квадратное окошко! Некоторые при виде такой роскоши, выставленной в стеклянной коробке, до того распались, что и машины предлагали. Таких Мара отшивала – не грубо, но строго. "У меня муж, дети. Если вы не уйметесь, я обращусь в дирекцию". И так далее.

Еще хуже она относилась к разного рода мелким извращенцам, которые пользовались ее с трех сторон обозримой красотой, как фотокарточкой, переснятой из зарубежного журнала. Ей нравились те, кто восхищался ею весело и без задних мыслей. Их сувениры не бывали дороже пяти рублей: букетик роз, три мандаринки, флакончик духов. Однако эти мелочи играли существенную роль в бюджете семьи: именно с их помощью Мара завоевывала дружбу и расположение продавщиц близлежащих магазинов. Одними контрамарками в театр оперетты дружбу не завоеешь. Мара относилась к розам и конфетам Зиночке из галантереи, та доставала ей модную кофту, которую Мара, недолго и очень аккуратно поносив, сдавала в комиссионный, где Шурочка ухитрялась продать ее порой дороже, чем Мара платила за новую.

Вот таким образом во дворе создавалось впечатление, что Мара одевается не по средствам, что у нее "горы вещей" в шкафах. И каждому понятно было, откуда берутся эти горы. На самом деле шкаф был один и почти пустой, так как Мара и от самых своих любимых вещей избавлялась незамедлительно, как только появлялось что-то новое.

Если бы не дети, этот перпетуум-мобиле действовал бы безотказно, но подрастали Марины красавицы, а все они, к несчастью, были чрезвычайно неряшливы. Каждая на свой лад. Невозможно объяснить, почему у таких аккуратных родителей уродились такие... распустехи. Ну пусть Флора, выродок, так сказать. Для нее грязь и беспорядок были естественной формой самовыражения. А нежнейшая, тишайшая Лианочка, которая умудрялась прислониться к каждой покрашенной стене?

А гордость семьи – маленькая Катя? Можно было бы предположить, что на младших сестер дурно влияла Флора, но это было не так: каждая из девочек жила своей отдельной жизнью – возможно, из-за большой разницы в возрасте.

Флора была старше Лианы на шесть лет и долгое время вообще не замечала ее существования. В то прекрасное летнее утро, когда Лианочка впервые вышла во двор в розовом платьице и белой шапочке с матерчатыми розовыми бутончиками под ушками, с мягкими черными локонами, свисающими на лобик и скрывающими в тени две ягодки – два печальных виноватых глаза, крупных, как у отца, с густыми ресницами и как бы без белков – так вот, в это самое утро Флора уставилась на сестру с таким же удивлением, с каким уставились на нее все соседи, оказавшиеся во дворе. Впрочем, этот интерес у Флоры тут же и угас: в то время она придумала себе новое развлечение. Подходила сзади к девочке постарше или еще охотнее к кому-нибудь из взрослых женщин и, очень натурально изображая удивление, спрашивала: "Тетенька! Что это у вас за красное пятно на юбке?" Испуганная женщина дергалась, как ударенная током, а Флорка раздражалась своим дрянным хриплым хохотом. "Вы мне скажите: откуда ребенок может знать такие вещи? – шепотом спрашивала Дина Фельдман у Гуревички. – Значит, она слышит это дома!" – "А где еще? Яблоко от яблони..."

Яблоко... Яблоня... И Мара, и ее сестры созревали годам к тринадцати, а у Флорки все началось в семь! И как тут было избежать неподходящих для ребенка разговоров? Испуганная Мара сразу побежала с ней к врачу, она и представить себе не могла, что это именно то... Но врач сказала, что такое случается, хотя и очень редко. Флорка стояла перед ней лохматая, вся в веснушках, с явно наметившейся грудью и ростом с пятилетнего ребенка. Старенькая медсестра попыталась в доступной форме внушить ей основные правила женской гигиены. Вот и все разговоры. Яблоня... Как же тогда объяснить то, что от одной и той же яблони откатились и Флора, и Лианочка? Как из-под одной крыши, из одной утробы появляется сначала бесенок с завитками, торчащими во все стороны, как язычки черного пламени, и маленький ангел с виноватыми, кающимися глазами?

Так вот, в тот день Лианочка стояла у двери черного хода, сжимая ручки, а все вокруг смотрели на нее и удивлялись, откуда она такая взялась. Ведь, кажется, еще этой осенью Сема носил младенца в одеяле... Большие девочки попытались ее пригреть: играли в "дочки-матери", и "дочек" не хватало. К тому же сразу было видно, что Лианочка – самое безобидное существо на свете, не то что ее сестра, и что малышку, возможно, придется от сестры защищать. Так оно и оказалось. Стоило Лианочке перебороть свой страх и присоединиться к детям – Флора тут же начала звать ее домой и тащить за руку, а Лианочка слабо упиралась и все смотрела назад, с густой, как мед, печалью в глазах.

Флора так и не дала Лианочке прижиться во дворе. Хотя, скорее всего, и без Флоры все вышло бы так же. Для двора Лианочка была слишком тиха и боязлива. Эта печаль... эта непонятная вина и вечное покаяние скоро начали раздражать детей. Дети таких не любят и в свою компанию не принимают. Впрочем, и компания к тому времени начинала разваливаться. Старшие дети – заводилы и воспитатели – все как-то разом выросли, да и те, что помоложе, один за другим покидали двор, уезжали на грузовиках, заваленных матрацами и перевернутыми стульями. Уже нездешние, уже чужие, они смотрели прямо перед собой, старательно прижимая к груди горшки со

столетником или геранью. Они исчезали навсегда, потому что от новых домов, nasкоро выстроенных по окраинам города, добираться было долго и трудно.

Родители Венички Тарсиса тоже получили новую квартиру, но художественная школа, где учился Веничка, находилась в двух шагах от старого двора, и он часто заходил туда после занятий. Подолгу стоял, смотрел на "свои" окна. Теперь это была спальня Рабинзонов, на подоконнике красовался их сифон с красной головкой. Но почему-то казалось, что там никто не живет. И во дворе в любое время дня не было ни души.

К тому моменту, когда Катю, младшую дочь Рабинзонов, стали выпускать во двор, она оказалась его единственной хозяйкой. Взрослые, случайно заметив в окно крадущегося вдоль сараев ребенка, испытывали странное беспокойство, тот неуют, который возникает при виде одинокого котенка, хищно гонящего сухой лист или клочок бумаги. Все уже забыли о том, что дети у Рабинзонов появляются внезапно и сразу большие, будто их взяли из детдома. К тому же соседи никак не ожидали, что Мара в ее осеннем все-таки возрасте надумает рожать третий раз. В то время и семьи с двумя детьми стали редкостью. А уж трое...

А Катя и видом своим напоминала поздний цветок, случайно проклюнувшийся на отцветшей клумбе – лихорадочно-яркий и с самого начала лишенный весенней свежести. Волосы у нее вились так круто и мелко, что всегда казались плохо расчесанными. Катино лицо выглядывало из темной копны, будто из норки. Это выражение усиливали ярко-голубые, светящиеся глаза – прекрасные глаза старой Рабинзонши, с такими же густыми ресницами, как у Семы, с такими же, как у Мары, бровями взлет. К сожалению, Катя не унаследовала бабкин открытый взгляд. Она смотрела как-то странно – прямо и одновременно уклончиво, будто ей, Кате, известна некая постыдная тайна. И чем старше становилась Катя, тем она делалась красивее и тем меньше нравилась окружающим. Маре и Семе принято было говорить, что младшая дочь у них самая удачная, но на самом деле все лгали. Каждый думал, что лучше всех Лианочка. Хоть она и глуповата, но это святая глупость от чрезмерной доброты. Даже Флора казалась надежнее: в ней вдруг оценили откровенность и прямодушие – пусть они и проявлялись в самых отвратительных выходках. Да и осознали вдруг, что выходки давно прекратились. Не то чтобы Флора стала добродетельной, но теперь это были заботы, касающиеся исключительно ее родителей.

Собственно, и в заботах этих не было ничего необыкновенного. Ну, видели Сему, выбегающего на темную улицу в то время, когда дети в нормальных семьях давно уже спят. Сема сердито щурился налево, направо. Желаящие могли дожидаться, когда он появится, подталкивая за локоть упирающуюся Флору, лохматую, в расхристанном пальто. Иногда из окна, в котором обычно красовалась Мара, вдыхая в восторженной задумчивости никому не ведомый аромат, сквозь задернутые занавески и шторы можно было услышать тайные раскаты семейного скандала. Но только раз этот скандал выплеснулся на улицу. Потрясающее зрелище!

Те же декорации: темный подъезд, густо отороченный виноградом, с запертыми ажурными воротами, из-за которых выглядывает пленный "Запорожец", над подъездом – то самое полукруглое окно. Две лозы смыкаются и смешивают зеленую роскошь своих листьев и фиолетовую зрелость своих гроздьев... В окне Сема и Мара

держат за ноги свисающую головой вниз, хрипло орущую Флору. Ее слова невозможно разобрать из-за съехавшего на лицо платья. Толпе, собравшейся внизу, хорошо видно, что и трусы, и комбинация на ней – импортные. Бабка "Ну-ну-ну", испуганная до смерти, грозит Флоре пальцем. Грохоча и улюлюкая, подкатывает пожарная машина, с лету, с горы, вырывается прямо под окно и выбрасывает лестницу. Пожилой пожарный подхватывает Флору, как Персей Андромеду, и с трудом заталкивает ее в окно. Сразу становятся различимы ее слова: "Жмот! Фашист! Скупердяй поганый! Все равно покончу с собой!" Створки смыкаются, задвигаются шторы, толпа, гудя, расходится...

Нет. Все-таки из этого не выжмешь пьесу. Для пьесы нужен хоть какой-нибудь сюжет, а жизнь Рабинзонов представляла собой нечто вроде книги, которую все равно откуда читать – с начала или с конца. Сема привозил из колхоза помидоры. А через десять страниц – огурцы. А на трехсотой – сало или горох. Ну и что? Не все ли равно, что они там солили? Или жарили, или пекли? И на какой странице Мара покупает итальянский пеньюар, на какой – австрийское платье? Кому важно знать, чем Мара отблагодарила Зиночку (или это была Леночка) – духами "Красный мак" (подарком верного Отари) или "Сливой в шоколаде" от какого-то... разве их упомнишь? Все одинаковые, все говорят одно и то же. "Я такую красоту, слушай, никогда в жизни не видел! У меня дом – два этажа в Махарадзе, панель, мрамор! Две машины стоят! "Волга" и "Жигули". У меня люстра – в столовой висит – за нее пять "Волги" купить можно! Все твое будет! Мужу твоему "Волгу" отдам, чтоб отступился! Пусть лучше соглашается, а то его убью, себя убью..." Или там еще кого. Ну, порвала Флора пальто на сто пятьдесят второй странице, а на двухсотой вступила в смолу и погубила новые туфли, которые ей все равно не нравились, а Лианочка капнула на выходное платье лаком для ногтей, стала оттирать его ацетоном и прожгла громадную дырку. И всё доставали что-то, что-то выплачивали...

Конечно, будь Сема следователем или... разведчиком, был бы и сюжет, но Сема брал пробы на дифтерит, дизентерию и все такое прочее. А какой-нибудь из ряда вон выходящий случай... Так помилуй нас Бог от всяких случаев: по большей части они несчастные. Не удержи тогда Сема толстую Флоркину ногу с крошечной ступней – вот и был бы сюжет. А ведь мог и не удержать. У него уже в глазах потемнело, и пот лился по спине. Думал: вот сейчас хватит инсульт – и все! Но обошлось без инсульта.

Вот такое семейство. Такая жизнь. Даже Флора, хотя и вносила в нее некоторые сложности, общей монотонности все же не нарушала. Не докладывала она родителям о своих "интимных" приключениях. И то сказать – что за приключения? Ну, ущипнул кто-то Флору за веснушчатую щечку, шлепнул по задку. Ну, бросала она цветки репейника на плавки интеллигентного мальчика – ленинградца, пока он не оставил свою "Анну Каренину" и не закидал этими липкими колючками купальник Флоры. Ну, какой-нибудь седеющий адвокат, Семин партнер по пляжному преферансу, в расхोлившихся волнах, в шумной прибрежной суতোлке учил-учил ее плавать и вдруг ткнулся в скользкое не по годам призывное тельце, которое через два слоя синтетического трикотажа ответило таким ударом тока, что он чуть не получил инфаркт... Да... Впрочем, последние два события следовали в обратном порядке. Это уж после папы-адвоката Флора так разошлась, что стала бросать репейник в сына-очкарика.

Было это в Крыму. Точнее, в Гурзуфе. Дело в том, что каждые страниц сто Сема на инвалидном "Запорожце", придавленном багажом, как деревенская кровать подушками, на месяц вывозил семью к морю. В пляжной компании он был известен как

доцент-инфекционист, а Мара – как главный администратор театра, и дружбу они водили исключительно с людьми достойными. И адвокат был человеком достойным. Даже деликатным. Так что пустяковый случай на пляже очень его расстроил. Нельзя было утешиться даже тем, что Флора сама спровоцировала его: какова бы ни была Флора – все-таки это был одиннадцатилетний ребенок, дочь его друзей. Ко всему еще он боялся, что она по вредности своей может что-нибудь наплести родителям, и поэтому, прощаясь с милейшим Семой и его красавицей-женой, адвокат почувствовал большое облегчение.

Когда через полгода он открыл дверь своей ленинградской квартиры и увидел на лестничной клетке Сему с Марой, он почему-то сразу испугался. Вспомнил быстрые глаза Флоры и радостное выражение распутства, которое порой мелькало в этих глазах. А Сема с Марой и держались как-то странно, не захотели снимать пальто... Сема даже от стула отказался, а Мара, едва присев и выяснив, что мальчика нет дома, разрыдалась.

– У нас большое горе, – начала она. – Мы ничего к вам не имеем...

– Мы знаем свой товар, – мрачно вставил Сема. – Конечно, это она во всем виновата!

– Я просто не знаю, как начать... Мы не имеем никаких претензий, но нам нужна помощь. Ведь вы, Асенька, гинеколог. Флора беременна...

Адвокату показалось, что он окончательно седеет на глазах у всех.

– Она говорит, что это ваш Славик. Нам совершенно безразлично! Но если это действительно Славик, то аборт делать уже поздно...

Ну чем не сюжет? Да еще скандальный! Забеременела девочка одиннадцати лет... Только снова-таки не было ничего скандального. Долгое время Сема и Мара просто ничего не знали. Флора унаследовала уже упоминавшуюся особенность Мариной фигуры: беременность никак на ней не отражалась. Если бы Мара, разбирая перед стиркой Флорино белье, не задумалась как-то, не начала вспоминать и прикидывать, не прижала бы беззаботную Флору к стенке – получил бы двор повод для воспоминаний на долгие годы. Но ничего такого не произошло. На весенние каникулы Флору отправили в Ленинград по туристской путевке. Для правдоподобия Мара такие же путевки предложила и Фриде для Веночки, и близнецам Котовских. В Ленинграде Флору "забрали в больницу". Сема привез ее месяца через полтора, здоровую и веселую, со справкой о скарлатине и об осложнениях. А ребенок ее, мальчик, остался в семье своего юного отца. Три месяца Ася Леонидовна симулировала беременность, а потом в глубокой тайне и с нарушением многих формальностей усыновила внука. По уговору Рабинзоны навсегда отказывались от него и полностью прекращали отношения с ленинградскими друзьями. Мара находила эти меры разумными, но часто плакала об утерянном младенце. Она ни за что не отдала бы его, но положение сложилось безвыходное: Мара сама была беременна и никаким другим способом не могла спасти репутацию дочери.

Репутацию Флоры... Да ее репутация сложилась в тот день, когда она вышла во двор с красным ведерком! И надо сказать, что предполагали о ней всегда гораздо больше, чем было на самом деле. Так что если бы во дворе стала известна история с цветками репейника, которые так трудно отирать от ворсистого трикотажа, что потом приходится брать справку о скарлатине с осложнениями, никто бы особенно не удивился. А, возможно, не было бы и злорадства: располневшая и подросшая Флора больше не швырялась грязью в выстиранные простыни, не разбивала лопаткой лбы, а

ее смелые выражения некоторых даже забавляли. Каким-то образом ей удалось свести веснушки, и сразу стало видно, что она красотка. Но почему-то это не порождало ни такой зависти, ни такого злословия, какое порождала красота ее абсолютно положительной матери. Флора не чуралась двора, любила поболтать с соседками и вообще – вся была на виду. Просто удивительно, как ей удавалось хранить такую тайну.

Впрочем, что-то витало в воздухе невнятное... Много лет спустя по двору вдруг пошли слухи, что Катя на самом деле – дочь Флоры. Такая версия сразу многое объясняла: и виноватый взгляд Лианочки, и воровато-уклончивую улыбочку Кати. Особенно напирала на то, что Мара в ее возрасте, с ее больным сердцем, да еще после стольких аборт в ряд вряд ли могла родить. И к чему был этой "самодовольной эгоистке" третий ребенок, когда тут и одного трудно одеть и прокормить... Но нашлось несколько свидетелей, видевших, как у Мары прямо на лестнице начались роды. Рябчучка сама бегала к Горбуновым вызывать скорую помощь. Кроме того, было подозрение, что сплетню пустила мстительная мадам Котовская после неприятной истории со злополучным окошком ванной.

К тому времени бедного брата Котовской давно уже забрали в специальное заведение, и легкомысленные соседки утратили бдительность, сняли с окошка линялую занавеску. И напрасно. Тоже – чем не сцена для театра! Узкий, темный коридор, высоко под потолком – окошко, затуманенное коммунальной ржавчинкой. Юный фавн с длинным лицом и зелеными от вечного вождения висками крадется в носках с кухонной табуреткой, бесшумно устанавливает ее под окошком, лезет вверх, трусливо придерживаясь за стену. За окном – яркое, лимонного цвета пространство. Там, в потрескавшейся, тесноватой для нее ванне, купается нимфа. Мокрые волосы, как черные струи, стекают в беспорядке по лицу и широким плечам, неподведенные глаза кажутся особенно острыми и быстрыми, и не в лад им медлительно колышутся в воде округлые, неумеренные формы: уходят под воду груди – выдвигается колено – на него ложится тяжелая нога с крошечной ступней, с которой нимфа как раз собралась соскоблить натоптыш и тут увидела это зеленое лицо со сжатыми губами и вывернутыми вперед треугольниками ноздрей – кто же не испугается?

Но снова же – попробуйте найти актрису, которая согласится сидеть перед зрителями в воде и мыльной пене! И как сыграешь то, что произошло дальше? От неожиданности Флора дернулась, скользнула по дну ванной, ударилась затылком... Хорошо, что Сема услышал ее хриплый вопль, как-то непонятно и резко смолкший. Сема и тут поспел вовремя, в секунду высадил дверь плечом, так что Флора и захлебнуться как следует не успела. На всякий случай вызвали скорую помощь. Флоре вкатили укол, дали валерьянки и уехали. А Сема, заперев за ними, вдруг совершил то, что было против всех его правил: стукнул кулаком в дверь Котовских и закричал: "Ты! Онанист поганый! Еще раз застану – убью!" И Котовская поступила тоже против своих правил: выглянула в дверь и ответила: "Тоже мне – оскорбленная невинность! Она уже видела Крым и Рим, ваша Флора! Весь двор знает, что Катя – ее дочь!" Сказала просто так, от стыда и злости, но Сема как бы смутился слегка, и Котовская подметила его смущение. Уже на следующий день бабка "Ну-ну-ну" сказала Семе, что может всем соседям поклясться, что Катя – его дочь, Семина, и что она сама видела, как врачи вели Мару, а у нее сходили околоплодные воды, так что она честная, Мара. Одно только плохо: зачем девочке дали такое некрасивое деревенское имя – не то что

Флоре и Лиане. Сема уже был в своем обычном настроении и объяснил ей, что "теперь такая мода".

Об этом случае скоро позабыли. А что, собственно, было помнить? У самой Котовской тоже были проблемы поважнее, чем Флорина нравственность. Откровенно говоря, ей и не было достоверно известно о Флоре ничего по-настоящему плохого. Ну, валялась целый день на диване, бросала в угол за дверь грязное белье, ела одну за другой конфеты, которые регулярно подносили Маре почитатели ее невянущей красоты. Но разве Лианочка и Катя вели себя как-нибудь иначе?

– Они даже конфету себе взять не хотят! – как-то разоткровенничалась с Котовской старая Рабинзонша. – "Мама, подай! Мама, заведи! Мама, постирай!" Не знают, что значит вымыть за собой тарелку! Эта Мара несчастная работает на них, как последняя рабыня! Она же святая! Если бы у меня были условия, я бы забрала ее к себе, чтоб она от них от всех хоть немножко отдохнула! Такая красавица! Такая хозяйка! Такая благородная женщина! Я вас спрашиваю: за что она так мучается?!

И Рабинзонша расплакалась.

И это говорила свекровь! мать, отдавшая ей своего единственного сына! Какие еще нужны доказательства Мариной порядочности? Но тут уж ничего не поделаешь: как невзлюбил двор Мару с самого начала – так оно и продолжалось. Другое дело – Марины дети. Все-таки выросли на глазах, Семины дочки, внучки старого Рабинзона. Семин покойный отец кому только не помог в этом доме! Был один из лучших окулистов города. А такой простой, симпатичный. И Сему во дворе любили, помнили, как он бегал в беленькой матроске. Очень живой и одновременно – послушный. Учился хорошо. А из-за нее, из-за Мары, не доучился, хотя и ясно было всем соседям с самого начала, что вышла она за Сему ради квартиры – и бросит его, как только найдет себе кого-нибудь побогаче и покрасивее. Опозорит, оставит в дураках! И чем дольше Мара не оправдывала этих ожиданий – тем больше ее не любили. И если бы каждая из дочерей не унаследовала каких-нибудь особых черт отцовского лица, непременно говорили бы, что Мара прижила их от любовников. Но хоть в этом обвинить Мару было невозможно.

Когда Веничка Тарсис был маленький, он с недоумением слушал, как во дворе злословят о Маре. Он не мог вмешаться в разговоры взрослых и объяснить им то, что наблюдает изо дня в день. Как Сема тихо подкрадывается к Маре и обнимает ее сзади. А Мара очень радуется, откидывает назад свою крупную голову и трется ухом о его плечо. Веничке это очень нравилось. Еще ему нравилось, как они все делают вместе: Мара вкладывает в банку вишни – Сема надевает крышки, Сема перекручивает мясо – Мара жарит котлеты, Мара закладывает белье в машину – Сема выжимает. Тихонько советуются, хвалят друг друга. Иногда сквозь щель в плохо прикрытой двери Веничка видел, как они сидят на диване обнявшись и вытянув вперед крепкие ножки в шлепанцах – смотрят телевизор...

Веничке были непонятны и жалобы старой Рабинзонши. Да, Мара подавала конфеты и подбирала кочаны, но как можно было называть ее рабыней? Ей поклонялись в доме, как божеству, ею гордились, ее обожали. Лианочка – так просто не отлипала от нее, чуть не за подол держалась. Часа в четыре, вместо того, чтобы делать уроки, выходила на угол Коминтерна и Руставели и стояла там у лестницы аптекоуправления, ждала мать с работы, выискивала ее лицо в окнах подъезжающего троллейбуса и бежала к остановке, задыхаясь от радости – будто это необыкновенная удача, что мать с работы возвращается домой. Они целовались, как на вокзале, под

удивленными взглядами прохожих. "Она очень ко мне привязана" – объясняла Мара, когда эту сцену заставал кто-нибудь из знакомых. Лианочка смущалась, опускала глаза, сжимала обеими руками локоть матери, но не догадывалась забрать у нее тяжелую сумку.

Флора к остановке не бегала, но когда ее многочисленные обожатели уверяли, что она самая красивая женщина в мире, Флора неизменно уточняла, что мать ее – гораздо красивее. А иногда даже водила их к стеклянной будке и не огорчалась, когда молодые люди признавали справедливость Флориного мнения. "Да, – соглашались они, – твоя мама самая красивая. Но второе место – ты!" Найдите еще одну женщину, которой не испортил бы настроения такой комплимент! Флора не заревновала даже тогда, когда некий Карим, только что предлагавший ей руку и сердце, оставил ее среди улицы и прилип к окошку билетной кассы, далеко выставив зад в дорогих, чуть лоснящихся брюках, да так и не обернулся...

А Катя ради Мары не бросала музыкальную школу...

Катя не любила музыку. Через пять минут занятий она начинала испытывать тошноту. Но Катя знала, что она – Марина гордость, и не хотела ее огорчать. Тех двадцати минут, которые Катя отсиживала за инструментом, до поры до времени хватало. У нее действительно были неплохие способности, так что однажды Мару даже вызвал Катин педагог и посоветовал перевести девочку в музыкальную десятилетку. Мара очень воодушевилась, сразу вспомнила о бывшей соседке, которая там преподавала, и уже на следующий день Катю повезли к Фриде Тарсис.

Девочка Фриде не понравилась. Катя смотрела прямо в глаза, с каким-то неприличным намеком – разве что не подмигивала. Особенно неприятны Фриде были ее руки, она даже не выдержала и с профессиональной назидательностью сказала: "Запомни на всю жизнь, детка: прежде, чем сесть за инструмент, обязательно вымой руки!" При этом Сема с Марой посмотрели на Катю с таким выражением, будто призывали ее слово в слово запомнить это божественное откровение. Катя хихикнула, но покорно поплелась за Фридой в ванную, старательно вымыла с мылом руки, после чего они так и не утратили своего темноватого оттенка. Это был их натуральный цвет. Вдобавок Катины пальчики выгибались в обе стороны, будто были лишены костей. Однако, когда Катя заиграла, стало ясно, что ручки у нее довольно крепкие, с редкой природной растяжкой. И слух был хороший. А бойкость – так даже чрезмерная... Катя ничуть не смущалась, попадая не на ту ноту, нагло смазывала сомнительные места, короче, играла грязно, и Фрида чувствовала, что эту грязь так же невозможно будет удалить, как не удалось ее смыть с Катиных рук. Фрида похвалила Катю, но отдавать ее в десятилетку отсоветовала. "Зачем вам десятилетка? Она может после семи классов закончить училище и сразу устроиться педагогом. А если у нее хорошо пойдет, она поступит в консерваторию и после училища". "Какая там консерватория! – замахал руками Сема. – Мы знаем свой товар! Хоть бы ее на училище хватило!" Катя зыркнула исподлобья, довольная словами отца. Тщеславием она явно не страдала.

Этот визит оказался бесполезным для Рабинзонов, но сыграл существенную роль в жизни Тарсисов. Ибо Фрида оставила бывших соседей ужинать, за ужином выпили, Рабинзоны стали хвалить Веничкины картины, а Тарсисы стали жаловаться, что у него до сих пор нет мастерской. И тут Сема вспомнил, что пару месяцев назад скончалась во сне бабка "Ну-ну-ну" и ее запущенный подвальчик стоит пустой и никому не нужный. На следующий же день Сема Рабинзон с Веничкой и Тарсисом-старшим побывали у дворника и в домоуправлении. И всем им Сема обещал, что Веничка будет для них

писать объявления и списки жильцов, хотя Веничка сразу предупредил его, что шрифтов не знает и пишет уродливо.

Надо сказать, что со списками жильцов он вполне прилично справился. Дворник его работой остался доволен. Только Сема выразил свое недоумение. "Чего это ты написал мою фамилию через "о"? Я происхожу от какого-то раввина, а не от Робинзона Крузо". Но так оно и осталось, потому что доску уже укрепили.

Сема чувствовал себя Веничкиным покровителем и обещал, что когда-нибудь Мара выберет время и попозирует ему.

Но времени у Мары все не было. Зато его сколько угодно имели Марины красотки. Рисовать их Веничка не любил, но что оставалось делать, раз они сами предлагали свои услуги, а другой природы не было... Сначала Веничка написал с них несколько честных реалистических портретов, которые привели весь двор в восхищение. Портретов этих Веничка стыдился, они были действительно ужасные, в пору продавать на базаре. Да иначе и быть не могло. Это в жизни интересно, когда глаза очень большие, ресницы очень густые, губы очень красные, а кожа очень белая. А на картине все это не трудно подмалевать кому угодно, и называется такое – "кич".

Как-то Флора привела в Веничкину мастерскую небритого типа с акцентом и дамским перстнем на пальце. Тип сказал, что сам занимается живописью, очень внимательно посмотрел Веничкины полотна и выбрал среди них нарисованный на днях портрет Флоры. Он захотел его купить и предложил такую сумму, какой Веничка и в руках-то никогда не держал, но в Веничке разыгралась гордость, и он сказал, что картина еще не дописана, что это, можно сказать, только подмалевок, и краски не просохли как следует... Пришелец очень сожалел: он должен был уехать к себе на родину тем же вечером.

Проводив гостей, Веничка, расстроенный своим успехом у такого "ценителя", взял сухие кисти и стал растушевывать четкие контуры, размывать изображение. Он вдруг понял, что так работал Ренуар. Перед Веничкой стояла картина Ренуара, которая могла смутить лишь излишней чернотой глаз и волос. Веничка выдавил краски и сделал волосы зеленовато-русскими, а глаза – расплывчато-голубыми. Это больше не было похоже на Флору, но стало похоже на девочку, с которой он когда-то отдыхал в лагере. Он вспомнил, что и тогда еще заметил в ней что-то общее с Флорой. В характере. В разрезе глаз. Тогда ему казалось, что это японский разрез. Теперь он видел, что это сходство, это особое выражение веселого и наивного порока крылось в скулах – необычайно высоких и сильно выступающих почти на самих висках. Причем разворот формы от висков к скулам и от скул к изящной впалости щек был пролеплен как бы единым вдохновенным движением двух любящих рук. Веничка пожалел, что не умеет лепить, и решил, что на следующий же день напишет с Флоры портрет-статую, в две краски: белила и... капут-мортuum, например.

Новая картина получилась довольно занятной. Вышло что-то таинственное... вроде этрусской статуи. Веничка писал – и заодно развивал перед Флорой мысль о том, что сходство – не главная цель живописца, что главное – передать восторг, который вызывает в нем натура, что нам сегодня безразлично, как выглядела на самом деле Мона Лиза или донна Велата – нам важен трепет, который они смогли вызвать в Леонардо и Рафаэле. Флора легко согласилась с такой точкой зрения. Она смирилась с тем, что ее портреты все меньше были на нее похожи, и довольствовалась Веничкиным "трепетом". А трепет действительно был. Чем лучше узнавал Веничка это лицо, тем больше восхищался его дивной лепкой – смелой,

легкой и одновременно скрупулезно совершенной в каждой мелочи. Иногда, глядя на это лицо, освещенное боковым солнечным светом, Веничка с трудом сдерживал рыдания и, чувствуя, как слезы собираются у него под очками, задавал вопрос Богу: "Господи! Зачем? Зачем ты вложил столько любви, столько труда в эту драгоценную амфору? Неужели для того, чтобы наполнить ее таким..."

В общем-то Веничка картинами своими был недоволен. И когда Флора, быстро расширившая в Веничкином подвале свой кругозор, вскрикивала "Да это же форменный Ван Гог!" – Веничка с грустью думал, что она, в сущности, права, что он действительно изо дня в день пишет чужие картины и что это расплата, ибо противоестественно сажать перед собой натуру, зная заранее, что ты ее исказишь. И смешнее всего было то, что как бы он ни изощрялся, как бы далеко ни отходил от оригинала, что-то эдакое оставалось, просвечивало в любой картине. Хриплый голос, сладкий запах косметики...

Невеста Веничкиного друга, Оля, увидев эти вольные фантазии в разных стилях, сразу и без колебаний узнала модель. "О Господи! – всплеснула она руками. – Так вот с кем ты водишь дружбу! А Петя говорил, что ты монах!" Рыжеватый Веничка залился темно-розовой краской и стал протирать платком очки. "Зачем ты его смущаешь, Оля, у них чисто платонические отношения! Видишь, ни одной "ню" – "Это с ней-то платонические? Да она у нас в коллекторе уже полгода работает – я ее хорошо знаю. Сидят у нас мальчики, аспиранты-полиглоты, маменькины сынки в галстучках... И что же? Стоит этой примадонне появиться в читальном зале – и они начинают бросаться на нее, как звери! У нее весь зад, наверное, в синяках!" – "Но ведь она-то для этого ничего не делает? Не провоцирует их?" – вступился за соседку Веничка. – "А зачем ей что-то делать? Кстати, знаешь, она говорит, что еще в одиннадцать лет соблазнила какого-то вундеркинда и родила от него ребеночка..." – "Ну уж это ложь! – обрадовался Веничка. – Зачем она на себя наговаривает?! Когда ей было одиннадцать лет, мы жили в одной квартире! Пусть тебе басен не рассказывает!"

Надо сказать, что с Веничкой Флора вела себя абсолютно добродетельно, старалась проявить лучшие качества. Как-то она показала Веничке письмо в стихах, которое отправляла родителям в дом отдыха. Стихотворение было очень длинное. В первой его половине Флора каялась и сожалела об огорчениях, которые она доставила родителям. Вторая половина содержала клятвы и обещания на будущее. Финал Веничка даже запомнил.

Вы будете гордиться мною
И, встретив в городе друзей,
Вы поспешите поскорей
О жизни рассказать моей.
"У Флоры нашей – все в порядке,
Проблем со старшей – больше нет!
Член партии и депутатка,
Вступила в университет
На философский факультет
И скоро станет аспиранткой.
Прекрасный муж, прекрасный сын.
Квартира, мебель – все в порядке.
Стоит машина в гараже.

Ее статьи, ее заметки
Везде печатают уже -
В Москве и даже за границей.
А не хотела ведь учиться!"
И, мама, может быть, сейчас
Твоя упала на страницу
Слеза... "Вставай! – ты папу позвала. -
Проснись!" В кровати он садится,
И ты протягиваешь лист,
А он читает. Вы садитесь
И до утра уже сидите,
С волнением крепко обнялись,
С надеждой на восход глядите...

Веничка считал, что для Флоры это не так плохо. "Философский факультет" его искренне тронул, но больше всего удивил почему-то аккуратный разборчивый почерк – будто Веничка полагал до этого, что Флора не умеет писать.

Часть своих обещаний (насчет мужа, квартиры и машины) Флора исполнила очень скоро. Веничка о готовящейся свадьбе ничего не знал. В то время он писал с Лианочки одну из своих голубовато-розовых туманностей, но Лианочка, когда разговор касался Флоры, помалкивала: она стыдилась того, что жених Флоры – мясник. А Катя, вообще скрытная по натуре, вдобавок была обижена на Веничку за свой портрет, написанный в духе Тулуз-Лотрека. Поэтому и вышло, что первой сообщила ему новость скрюченная Рябчучка. "Для Флорки, – злорадно сказала она, – мясник как раз и подходит больше всего!"

До самой свадьбы никто из соседей не видел жениха, и все ожидали, что это громила с красной лысиной и налитыми кровью глазами. Но из машины вышел паренек среднего роста, одетый, как манекен в витрине, с цветочком в петлице и с большим букетом. Он легкой походкой прошел от машины к подметенному парадному, уверенно хлопнул дверью и очень скоро появился вновь, под руку с Флорой. На Флоре был наряд из какой-то невиданной белой парчи – нечто вроде индийского одеяния, только без покрывала. Между маленькой кофточкой с коротенькими рукавчиками и длинной юбкой, расширяющейся книзу оставалось голое тело – будто специально для тех, кто сплетничал, что толстухи-Рабинзонши перетягивают себе талии с помощью граций. Флорины кудри были упорядочены в парикмахерской, их разделили на прямой пробор, собрали сзади в пышный узел и по-индийски же украсили с двух сторон цветами: белыми розами и чем-то меленьким, как крупа. Для завершения колорита на лоб невесты спускалась серебряная цепочка с маленькой диадемой. Из-под юбки поблескивали серебристые босоножки на очень высоких каблуках.

Веничку слегка рассмешил этот наряд; вместе с тем он был искренне растроган. От невесты веяло свежестью... К тому же как раз цвели липы. И все семейство Рабинзонов ослепляло новизной одежды и неумеренной своей красотой. Мару, возбужденную, с милой челочкой, зачесанной набок, в светло-сером шифоновом платье, можно было принять за вторую невесту. А какая прелесть было Лианочка в своем розовом костюмчике! И Катя как-то распрямилась в честь праздника, чуть прояснилась и похорошела, так что выглядела пусть не на свои двенадцать, но и не на двадцать, как обычно. И свеженькие для своих лет, элегантные сестры Мары тоже

выглядели замечательно! Они как раз входили в свой лучший возраст. Одна в строгом кофейном платье, другая в бежевом – они создавали Маре прекрасный фон, как басовая партия в оркестре. Младшая накануне помирилась с мужем, старшая, наоборот, развелась, и обе выглядели очень довольными. Трое их детишек липли к Семе. Смуглый Сема, с легкой изморозью на висках, в светлом костюме, с бабочкой на шее выглядел, как человек, осуществивший самую свою заветную, самую несбыточную мечту. И все это двигалось одной шеренгой, сияющее, с цветами, среди множества других людей... Будто кончилась счастливо пустейшая пьеса и актеры вышли на поклон.

Веничка стыдливо сглатывал подступающие слезы восторга, привычно вопрошал: "Для чего? Для чего было создавать столько нелепой, бесполезной красоты?"

На свадьбу Веничка не пошел. Соседи потом рассказывали, что в самый разгар веселья кто-то дрался на лестнице, кого-то ударили ножом. Была скорая, на ступеньках видели кровь. Подрались будто бы между собой поклонники Флоры. Непонятно было, что они теперь могли оспаривать, что доказывали друг другу.

Среди ночи муж перевез Флору в свою кооперативную квартиру, а веселье за полукруглым окном продолжалось. Пили за молодых, за родителей, восхищались красотой и молодостью Мары и Семы, тем, какие у них получились замечательные дети. Призывали не лениться и родить еще нескольких, таких же или даже еще лучших, причем оба они, и Мара, и Сема искренне смущались, краснели и повторяли: "Ну что вы! В таком возрасте! Мы теперь будем внуков ждать!"

Угомонились только к утру. Соседи разошлись по свои квартирам, и в наступившей тишине всем вдруг стало ясно, что они ошибались, что Мара любит Сему, что, как бы она ни была красива, ей уже много лет, и не случится уже ничего особенного, и не возникнет тот самый роковой "начальник", которого соседи так уверенно ожидали почти четверть века...

Вот тут-то оно и случилось! И не что-нибудь, а именно то самое, чего ждали. Тот самый крах, тот самый случай, который называется "сюжет".

И по чьей же вине! Трудно поверить, но виноват в несчастье был единственный человек – тишайшая, добрейшая Лианочка! Именно из-за своей доверчивости и доброты.

Итак, отгремела свадьба с ее шумом и хлопотами. Усталая Мара неважно себя чувствовала, и в стеклянной будке ее заменяла Лианочка. Потом Сема достал для жены льготную путевку в санаторий. Флорина свадьба обошлась очень дорого, Рабинзоны были всем должны, от бывших соседей до кассы взаимопомощи. Поэтому решено было, что Мара не станет оформлять отпуск за свой счет, тем более что до начала занятий в техникуме Лианочка была совершенно свободна.

Работать Лианочке нравилось. Она старательно отрывала билеты, улыбалась, протягивая их покупателям. Многие спрашивали о матери, передавали приветы и сувениры. Лианочка подробно рассказывала о санатории, о Флориной свадьбе, о Катенькиных успехах в музыкальной школе. В центре города, в стеклянной будке она чувствовала себя, как дома. Приезжал на "Москвиче" Михаил Захарович. Трепал мягкие кудряшки, вспоминал, как Лианочка на каком-то опереточном пикнике облилась лимонадом, выдавал конверты с билетами. Конвертов было очень много: начались гастроли знаменитого московского театра, и к каждому билету на его спектакль

полагалось продавать "нагрузку". Михаил Захарович пересчитывал билеты, повторяя по несколько раз длинные цифры, которые Лианочка и расслышать не успевала – не то что запомнить. Она расписывалась на разных бумажках, в тех клеточках, на которые указывал треснутым ногтем Михаил Захарович. Лианочка не боялась его, но после этих посещений у нее долго колотилось сердце. Не меньше она волновалась, когда сдавала деньги Светлане Петровне – тете Свете. Тетя Света считала их так быстро, что купюры гудели в ее руках и становились невидимыми.

Впоследствии Мара уверяла, что знает, кто совершил подлость, воспользовался наивностью ангела, и, сияя лучащимися от слез пепельно-голубыми глазами, обещала, что негодяя скоро настигнет возмездие. Обиженный Михаил Захарович, которому, конечно, передавали Марины высказывания, намекал, что дела у Мары были запутаны еще раньше, в связи со свадьбой Флоры, а Светлана Петровна говорила всем, что у такой недотепы, как Лианочка, мог вытащить деньги любой из проходимцев, которые вечно крутятся возле Мариной будки. "Ничего-ничего! – вдохновенно обещала Мара. – Тот, кто это сделал, заплатит за наши слезы!" И тут же голубые эти слезы переполняли Марины глаза, делали их немыслимо огромными, и страшно было, что они вот-вот прольются, потекут, размазывая тушь.

Возможно, кому-нибудь эта растрата не показалась бы очень большой, но Рабинзоны даже в лучшие свои времена были не в состоянии внести такую сумму. Всегда считалось, что дом их – полная чаша, а как стали складывать вазы – так все и вошли в одну сумку... И деньги за них предложили мизерные, даже свадебные долги перекрыть не хватало. У "Запорожца" прогнили пороги, в телевизоре села трубка. Платьев у Мары было мало, их продажа ничего не решала. Да и надо было в чем-то ходить... Приятельницы из коммисионок предлагали за вещи копейки. Обиженная Мара решила, что не даст им нажиться на своем горе, и раз уж вещи идут за бесценок – то пусть этим воспользуются соседи и родственники.

Лучшие вещи они отложили для Фриды Тарсис. Поздним вечером явились к ней с большим чемоданом, рассказали обо всем случившемся. Фриде неловко было скупать вещи по дешевке, а за дорого они ей были не нужны. Фрида предложила Рабинсонам деньги в долг, но Мара сказала, что это не имеет смысла: все равно придется возвращать. "Хорошо, – решила Фрида, – я куплю у тебя эту вазу, воротник и шапку, но пользоваться ими не буду. Когда у вас все уладится, я верну тебе вещи в целостности и сохранности. Я просто уверена, что все обойдется!" – "Как же обойдется, Фридочка... – улыбнулась Мара с усталым высокомерием смертельно больного, знающего свой диагноз. – Я оставляю их голыми в пустой квартире и все равно иду в тюрьму!" – "Я этого не переживу! – зарыдал, как подросток, Сема. – Я просил, чтобы меня за нее посадили, но они отказались, потому что я не числился! Бюрократы! Посадить меня нельзя, а убить можно! Я не выдержу даже, если увижу ее на скамье подсудимых! А про тюрьму и говорить нечего! Ты можешь представить себе ее в тюрьме?!"

Фрида не могла. Ей действительно почему-то казалось, что все уладится. Произойдет какое-то чудо... Может быть, зять-мясник...

Увы, зять ничем не мог помочь своей красавице-теще. Он только что окончил курсы и не имел постоянного места работы. При этом он должен был выплачивать кооперативную квартиру... Да и не отличался он, по-видимому, излишней щедростью, так как Флора, отдавая матери свои золотые часики, предупредила: мужу и его родителям она скажет, что потеряла их в трамвае. Мара понимала, что Флору ожидает большой скандал, но часы все-таки взяла. Вот до чего дошло. Хуже того! Гордая,

благородная Мара, никогда не унижавшаяся перед своими бесчисленными поклонниками, всем им выкладывала историю о своем бедственном положении в надежде на легендарное кавказское богатство и широту души. Сияли, лучились ее глаза, полные непроливающихся слез.

И Мару купили. Вовсе не кавказец. Мальчишка, сопляк, ровесник Флоры – тот самый Карим, что когда-то увязался за нею и тут же бросил, как только увидел Флорину царственную мать. Конечно, и Флора ему очень нравилась, но узбека не удивишь ни угольными волосами, ни раскосыми глазами. А Мара была – чудо, заморский товар, на который не влияет даже возраст. Только ради Мары Карим тащился в этот город, где изюм и урюк продавались гораздо дешевле, чем где-нибудь на севере. Он ни на что не надеялся, только стоял, улыбался, положив локти на пластмассовый выступ перед окошком Мариной кассы, а лбом прижимаясь к стеклу. Когда к кассе подходили люди, он отступал под дерево, росшее неподалеку, ждал, пока все разойдутся, и снова возвращался на свое место.

Он выглядел старше своих лет, но был слишком молод, так что Мара не стала рассказывать ему о своем несчастье. Он просто подслушал ее разговор с другим. Отошел к своему дереву. Подумал. А потом сунул свою пылающую от азарта и нетерпения голову в окошко и предложил следующее: он полностью выплачивает Марину недостачу. Выкупает проданные и заложенные вещи. За это Мара становится его законной женой и уезжает с ним в Фергану, где он обещает окружить ее роскошью, которой она, Мара, достойна.

Впервые за два месяца Мара рассмеялась. Но прошло еще какое-то время, и стало ясно, что ожидать чуда больше неоткуда. Сема бегал по адвокатам. С адвокатами надо было расплачиваться, и он стал продавать кур и яйца, привезенные из поездок по селам. Но это были гроши, а долги его не только не уменьшались – росли... Суд приближался, и лучшее, на что могла рассчитывать Мара, были три года с конфискацией имущества, которое, впрочем, уже было распродано.

Первой всерьез заговорила о Кариме старая Рабинзонша. Она высказалась расплывчато, но все ее поняли. Раз уж "наказание" неизбежно, то не лучше ли отбыть его у богатого мальчишки-узбека? Можно ли быть уверенным, что Мара с ее внешностью не подвергнется в тюрьме куда большему надругательству? Да и по времени это может оказаться куда короче: поиграет с дорогой игрушкой, а потом сам будет рад избавиться – ведь разница какая в возрасте! Лет двадцать!

И тут все как-то двинулось с места, будто увидели шанс на спасение, который чуть не упустили. Карима пригласили на чай к старой Рабинзонше. Сема купил торт. По дороге к дому матери он несколько раз останавливался, смотрел на круглую коробку, украшенную листьями каштанов, и думал, что все это ему снится.

Но спать было некогда. Сема продолжал бегать по инстанциям – правда, теперь совсем по другим. Он вносил деньги, подписывал обходные листы, оформлял развод. Все это делалось с жаром, даже с каким-то азартом. Сема спасал жену. По просьбе Мары он даже пошел на подлог: вялый нолик в ее паспорте исправил на девятку, и теперь Мара, хотя и осталась старше Карима, но теперь уже только на десять лет.

По ночам тоже почти не спали. "Прощались"... Хотя, по правде говоря, обоим этого не очень-то хотелось. Но поскольку была опасность, что мальчишка может наградить Мару ребенком, решили его опередить.

Осенние дни тянулись для Мары невыносимо долго. Она отбирала и складывала вещи. Наполнить чемодан было нечем. Лианочка предлагала бедной невесте свои

туфли и шарфик. Но Мара отказалась: эта жертва ничего не решала. Даже если бы она собрала наряды всех своих дочерей, вряд ли такое "приданое" произвело бы впечатление на богатую родню Карима. Впрочем, куда сильнее Мару смущало другое. Возраст. Она обмирала, представляя себе, как возмущенная мать Карима выставляет ее из дому. Конечно, если подумать, это был бы для Мары наилучший вариант, но что-то внутри нее судорожно противилось, не допускало возможности такого унижения.

Нечто подобное испытывал и Сема. Хотя, по правде сказать, он не очень-то верил, что Мара действительно уедет. Да, были уже куплены билеты – но ведь и день суда тоже был назначен! А обошлось без всякого суда.

На этот раз не обошлось. Пасмурным ноябрьским днем, на глазах у всех соседей, Сема отпер ворота, вывел застоявшийся "Запорожец", вынес Марин чемодан. Потом прошла к машине Мара – с тем притворно обыденным видом, с каким выходят, чтобы отправиться в больницу на рискованную операцию. Лианочка и Катя поддерживали мать за локти, а Сема усаживал бережно и заботливо, как смертельно больную. Он не надел шапку, и было видно, что за последние месяцы голова его сильно поседела.

Флора приехала на вокзал чуть раньше обусловленного времени и застала на перроне взволнованно суемящегося Карима. Это было возбуждение победителя, отбившего у неверных святыню. Он великодушно приглашал Флору в гости. Флора не собиралась воспользоваться приглашением, но и не находила в нем ничего несуразного. Как и во всей создавшейся ситуации. В те дни, когда матери грозила тюрьма, она впервые в жизни испытала настоящий ужас, и теперь для нее было не так уж существенно, каким образом удалось избежать катастрофы. Помог Карим – и Флора была благодарна Кариму.

Они очень оживленно беседовали о разных посторонних вещах, когда Мара, сопровождаемая Семой, дочерьми и опухшими от слез сестрами, вышла на перрон. Это оживление всех неприятно задело. Впрочем, Карим проявил благородство: смирил свою радость, был с Семой предупредителен – так ведут себя на похоронах с близким родственником усопшего. Все похлопывал Сему по плечу и повторял: "Ничего. Ничего..." Сема на него не обращал внимания. Они с Марой тихонько советовались о чем-то, на что-то намекали друг другу взглядами, до самого конца, пока не тронулся поезд. Шел мокрый снег...

Если историю Рабинзонов оборвать на этом месте, получится драма. Или хуже того: описать Лианочку... Как она стоит в своем черном пальтишке на углу Коминтерна и Руставели, где обычно встречала Мару, и троллейбусы останавливаются один за другим, открываются двери, люди ступают на тротуар, расходятся в разные стороны...

Или закончить и вовсе грустно: женитьбой Семы.

Что делать! Да, Сема женился. Через семь лет. Столько не вкатил бы Маре никакой суд. За эти семь лет она так и не надоела своему узбеку. И если трудно сказать, от кого она родила свою четвертую дочку, по-восточному раскосенькую, как Флора, – то уж остальные родились, несомненно, от Карима.

Сема вполне еще мог нравиться женщинам. Он сдал, конечно, но не утратил боевой выправки. Живописная, как у матери, седина придавала его лицу значимости и тайны, которых Семе не хватало в молодости. Он запросто подыскал бы себе интересную девицу в районе тридцати, пересидевшую из-за своей чрезмерной требовательности. Но Сема поступил иначе. Привел в свой опустевший дом вислозадую коротышку, у которой к тому же не открывалось до конца правое веко, отчего она казалась хмурой и подозрительной. Так что никому и в голову не пришло

сравнивать ее с Марой или гадать, по любви ли он на ней женился. Каждому было ясно, что Сема хотел сказать своим поступком. Раз не Мара, то безразлично кто. Все вы мне на одно лицо – вот такие...

Собственно, сначала никто и не подумал, что это жена. Видели как-то, что она развешивает Семины рубашки. В другой раз она мыла на кухне окна. Решили, что это работница из дома быта, нанятая Семой для уборки. Но потом они стали выходить вместе. Вернее – рядом. Так ходят чужие люди, которые получили некое общее задание. Он смотрел по сторонам, она под ноги, и вид у нее был недовольный, но покорный.

Вот тут соседи все поняли и ахнули. Можно сказать, ужаснулись. И успокоились только тогда, когда по двору пошли слухи, что у Семы с коротышкой есть уговор: она уйдет, как только вернется Мара. Это казалось тем более правдоподобным, что на то время, когда Мара приезжала в гости из своего Узбекистана, Семина новая жена неизменно куда-то исчезала. И каждый раз соседи надеялись, что теперь уж Мара останется насовсем. Все забыли, как сплетничали о ней когда-то, и не казалось больше важным, изменяла она Семе в молодости или нет.

Но Мара уезжала, и в полукруглом окошке, над ажурными воротами, скрывающими запущенный "Запорожец", в окошке, по-прежнему увенчанном тяжелыми гирляндами винограда, снова возникала голова, созданная Господом в один день с картошкой и черепахой, провожала прохожих унылым беспокорным взглядом.

Но зачем же останавливаться на таком месте?! Эдак каждую историю можно закончить похоронами! Ведь все люди в конце концов умрут, даже Рабинзоны. Но кому это нужно – описывать похороны? Раз уж не завершился рассказ свадьбой Флоры, можно описать свадьбу Лианочки. Или Кати.

Розы, залпы шампанского прямо под липами на улице Коминтерна, черные "Волги" в цветах и лентах. Ни Катя, ни Лиана, правда, не наряжались в индийском стиле, но тоже запомнились публике. По богатству их платья превосходили платье Флоры. Эти облака и туманы, расшитые снежными узорами, привозила из Ферганы Мара. Вместе с другими подарками от узбекской родни. Подарки были дорогие. Марина новая свекровь передала Лианочке – как "любимой сестре Мары" – колечко с изумрудом, а Кате – "Мариной старшей дочери" – подарила на свадьбу целый комплект: серьги и кольцо с бриллиантами. Мара приезжала без мужа, но обязательно с детьми. С младшим, как всегда, нянчился Сема, и, как всегда, уютно и крепко сидел у него на руках младенец. Мара вдыхала воздух, ароматный от комплиментов и восхищения. С каждым новым приездом будто что-то новое расцветало в ней, и все женщины гадали, что это: радость встречи? обновление организма в результате родов? безбедное житье? молодой муж? Любопытство абсолютно праздное, так как все эти средства были для них одинаково малодоступны.

Когда кто-нибудь из гостей шепотом спрашивал у старой Рабинзонши, скоро ли Мара вернется окончательно, она отвечала: "Нечего спешить! Пусть поживет в свое удовольствие! Достаточно она помучилась в своей жизни, достаточно она грязных тряпок настирала!" Гости предполагали, что у старухи начался маразм. Кто-то клялся, что Рабинзонша посылает Мариной новой свекрови поздравительные открытки...

Она их действительно посылала. В конце концов, мало ли та сделала для ее внучек? В особенности для Кати. Устроила ее в ферганское музучилище, кормила,

одевала четыре года. Она бы Катю и в консерваторию впахнула, но Катя не захотела. Во-первых, ей надоело жить в Средней Азии, во-вторых, как уже упоминалось, она не любила музыку.

К тому же оказалось, что у нее в Киеве есть мальчик, отношения с которым зашли довольно далеко. Так что старая Рабинзонша переволновалась за Катю не меньше, чем когда-то за Флору. Но, слава Богу, за этого же мальчика Катя и вышла замуж. Конечно, Рабинзонша предпочла бы для нее супруга постарше и покрасивее. То есть старухе нравилось открытое ясное личико жениха, но рядом с Катей он выглядел бледненько.

Да и кто бы не выглядел бледненько рядом с Катей! Лучший фотограф города, снимавший молодоженов в день свадьбы, решил сначала, что Катя – самая красивая невеста, какую ему доводилось видеть. Он даже хотел послать фотографию на конкурс, но потом присмотрелся и передумал. Что-то его смутило в плечах невесты, в выражении ее лица... Фотограф решил, что невеста беременна.

Что делать! Как ни мало времени Катя уделяла музыке, осанку она все же испортила. А вот беременна Катя не была. И вообще оставалась девицей к означенному моменту. Фотографа обмануло таинственное сочетание застенчиво потупленной головки и беззастенчивого взгляда. Ребенка она родила только через три года. А потом еще двоих. У Лианочки родилось два мальчика. У Флоры – четверо.

Обо всем этом Веничка узнал от Флоры. Они встретились в центральной детской консультации. К тому времени Веничку давно уже выжили из подвала, а Рабинзоны с Котовскими разменяли свою коммуналку. Веничка женился. Он снова работал дома, и жена стала его единственной натурщицей. Была она бледненькая и простоватая, но картины получались красивые. Веничка писал ее очень похоже, но чуть-чуть "доводил" скромные черты, выявлял и подчеркивал затаенное их изящество. Он развил даже целую теорию о том, что броская, совершенная красота не является благотворным объектом для искусства, так как она и есть самоцель, конечный, так сказать, продукт, не нуждающийся в сотворчестве художника. Он теперь и для натюрмортов предпочитал неказистые фрукты и привядшие цветы. Теория, возможно, и любопытная, но слишком широко обобщающая Веничкин личный опыт.

Как бы то ни было – Веничку стали замечать искусствоведы. А некий политический деятель Канады купил у него подряд три картины. Это вышло очень кстати. Веничкина жена сидела дома с ребенком и никак не могла выйти на работу: мальчик родился слабенький и часто болел.

Флориному малышу, как и сыну Венички, было одиннадцать месяцев, но он выглядел гораздо старше и живее. Ерзал, сползал на пол, возился у Флориных ног, снова просился на руки, топтался, оставляя на черной юбке и черных чулках Флоры пыльные следы своих ботиночек.

Веничка никак не решался спросить, по ком она носит траур.

– Как ваша бабушка, здорова? – осторожно поинтересовался он.

– Нормально! А что ей делается? – удивилась Флора и тут же развеселилась, угадав Веничкину мысль. – Это сейчас мода такая – одеваться во все черное. – Она окинула свой наряд диагональным взглядом и, наконец, заметила пятна. – Смотри, что ты сделал маме! – с притворной строгостью рявкнула она и шлепнула ребенка по попке, причем ребенок был очень доволен, что она отвлеклась от разговора с чужими

людьми и занялась, наконец, им. – Это же мастика! Она не смывается! Ну что с тобой делать, а? Что с тобой делать?! Видали вы еще такого противного мальчишку?! И так с утра до ночи!

– Это же хорошо! – горячо откликнулась Веничкина жена. – А наш – видите? – только сидит и смотрит. Мы так волнуемся! Вот и ростом он намного меньше вашего...

– Чепуха! – уверенно перебила Флора. – Ребенок как ребенок. Первый всегда самый маленький. И потом, он у вас – искусственник, поэтому и худой. Я своих до полутора лет кормила, – Флора машинально глянула в свой глубокий вырез. – А этого пришлось отлучить. Нельзя больше.

– Почему? – заинтересовалась Веничкина жена.

Лицо у Флоры дернулось, будто она собиралась отпустить непристойность.

– Вы что, не заметили? Я же беременная! Вообще-то я не думала заводить четвертого, но у нас же не врачи, а коновалы! Я к ним обратилась, а они сказали, что это опухоль.

И Флора поведала Веничкиной жене о том, как ее гоняли от врача к врачу, как она хотела выброситься из окна, когда ей прибыло направление в онкологию, и как в онкологии сделали снимок и обнаружили, что это беременность.

– А аборт, говорят, делать уже поздно. Я сначала хотела жаловаться, а потом плюнула. Черт с ними! Чем опухоль – так уж лучше ребенок! Правда?

– Конечно! – согласилась Веничкина жена. – Вы просто героиня! В наше время – четверо детей...

– Подумаешь! – пожала плечами Флора. – У моей мамы – семеро.

– Семеро? – переспросил Веничка.

– Ну да! Вместе с нами – семеро. А ты что, не знал? Она в январе родила мальчика.

– Как же она справляется?

– Нормально... Нина поехала ей помогать. А Беба нянчит свою внучку. Ты знаешь, они помирились со своими мужьями!

– Кто это – Нина и Беба? – смутился Веничка.

– Как – кто? – изумилась Флора. – Мамины сестры.

– Надо же! А я и забыл, что их так звали!

– Конечно, – сказала Флора. – Столько лет прошло! А ты как? Все рисуешь? – она вдруг подмигнула, строго подобралась и уголком губ шепнула: – Мой идет. Он не любит...

Тут Тарсисов пригласили в кабинет, а когда они вышли, Флоры уже не было. Веничке стало жаль, что он не расспросил Флору о матери, не узнал поподробнее о ее жизни.

Но напрасно он думал, что упустил что-то особо интересное. Сюжет... Он щелкнул, как выключатель, а дальше снова одно и то же. На пятисотой странице вместо беляшей готовят самсу, а вместо вареников – манты, на пятьсот сороковой варят плов, на такой-то приезжает в гости Лианочка, на такой-то – Флора; вместо чешского шкафа – финский гарнитур, вместо клюквенного морса – гранатовый, и каждые сто страниц – поездка на родину. Нарядные выходы в город, с детьми, с цветами, с тортами. Издали посмотришь – не то цыганский табор, не то встреча иностранной делегации...

А ближе подходить незачем. Не наше это дело.